

Утром рано, на заре, до птиц, пробудилась княгиня Наталья. Не прибираясь,- только накинула белый опашень,- отомкнула дверь из светлицы и вышла на мокрое от росы крыльцо.

Ничего не жалел для Натальи, для милой своей хоти, князь Чурил: выстроил терем посреди городища, на бугре между старых кленов; поставил на витых столбах высокое крыльцо, где сидеть было не скучно, украсил его золотой маковкой, чтобы издалека горела она, как звезда, над княгининой светлицей.

В тереме зачала Наталья и родила хозяину сына Заря-слава. Было ему ныне три зимы и три лунных месяца. Любил князь жену и сына и шумного слова им не сказал во всю бытность.

Городище стояло на речном берегу, обнесенное тыном, рвом и раскатами. Внутри, дым к дыму — срублены высокие избы. И выше всех — восьмишатровый красный княгинин терем. Бывало, плывут по реке в дубах торговые люди, или так — молодцы пограбить, завалятся у гребцов колпаки, глядят: город не город — диво,- пестро и красно, и терем, и шатры, и башни отражаются в зеленой воде днепровской,- и начнут пригребаться поближе, покуда не выйдет на раскат князь Чурил, погрозит кулаком. Ему кричат:

— Ты, рвана шкура, слезай с раската, давай биться! И пошлют смеха ради стрелу или две.

Далеко шла слава про князя: сорок воинов стоит у его стремени; одни — сивые, в рубцах, вислоусые руссы, северные наемники, побывавшие не раз и под Цареградом; другие — свои, поднепровские, молодец к молодцу, охотники и зверобои. Богат, хорошо нагорожен город его Крутояр.

Ныне князь отъехал по зверя. В городище бабы остались с ребятами да старики. Шуму нет, тихо. Княгиня Наталья прислонилась непокрытой головой к столбу, сидит и слушает. Внизу журавель заскрипел — сонная девка тянет из колодца воду; собрались воробьи на огороде, зачирикали — собираются по ягоду; идет поперек улицы собака с мочалой на шее, стала и давай зевать; птицы и птички пробуждаются, не смеют еще петь до солнца, голоса пробуют, голос подают; заиграл рожок у северных ворот, замычали коровы, потянуло дымком. И заря за речкой обозначилась сквозь речные туманы бледными, алыми, водянистыми полосами. Сильная сегодня роса! А уж кукушка из лесу — ку-ку.

Княгине охоты нет пошевельнуться, точно сон оковал ее. Поднялась рано, сама не знает зачем, и все ей грустно — и глядеть и слушать. Так бы вот и заплакала. А с чего? Князя ли заждалась? Третий день по лесам скачет. Сына ли жалко — уж очень беленький мальчик. Мило ей все и жалко.

Княгиня в углу крыльца нагнула каменный рукомойник, омыла лицо, взглянула еще раз на кровли и башенки Крутояра, на реку, проступающую синей-синей водой из-под тумана, и вошла назад в сонную, теплую светелку.

В колыбели спал княжич, выпростал руки поверх одеяла, дышал ровно, хорошо, так весь и заливался румянцем.

Княгиня присела на лавку, опустила голову на колыбель, и слезы полились у нее. Плачет и сама шепчет:

— Вот уж с большого-то ума.

И такою жалостью залюбила сына, что душа ее поднялась, окутала колыбель, прильнула к спящему, а тело оцепенело. На молодую княгиню напал глубокий, непробудный сон.

И не услышала она, как вдруг начали кричать птицы, садясь на крышу: «Проснись, проснись», как завыли, заскулили собаки по всему городищу, захлопали ставни, побежал куда-то народ, как у всех четырех ворот забили в медные доски, и пошла тревога: «На стены, на стены!»

Большое тусклое красное солнце поднялось в клубах тумана, и народ со стен, дети, старики,- увидали великую силу людей, малых ростом, с рыжими космами, в шкурах: Чудь белоглазую. Пробиралась Чудь от дерева к дереву, окружала городище, махала дубинками и с того берега плыла через реку, как собаки.

— На стены, на стены! — звали старики, тащили на раскаты бревна, камни, в колодах горячую воду.

— Чудь идет, Чудь идет! — выли бабы, мечась, хороня ребят в клети, в погреба, зарывали в солому.

А Чудь уже лезла через тын, карабкалась на раскаты, визжала. В замковую башню-детинец кидала стрелы, камни, паклю горящую. И задымился угол у башни, и закричали:

— Огонь! Лихо нам!

Били с раскатов Чудь, долбили по башкам, порошили песком в глаза, обливали варом, пыряли шестами. А те только орали шибче. Лезли, падали, опять лезли, как черви. Да и где было справиться с белоглазыми одним старикам да малолеткам. Одолел враг, добрался до раскатов. Покидали защитников, и разбежалась Чудь по городу, и начался другой клич — бабий и детский.

Потоптали в ту пору, побили много народа, остальных погнали за стены на луг. Рвали на бабах рубахи. Было горе.

С четырех концов пылал Крутояр, брошенный на поток. Из огня тащили одежду, птиц, поросят, малых детей. Ярилась Чудь. Многие сами погорели, волоса попалили. И добрались до княжьего терема.

Но высок был тын кругом, и ворота крепки. Ударили в них бревном — не поддались. И головни, искры, солому так и крутило, обдавало жарким дымом. И занялся терем, задымил.

Тогда с долгим стоном пробудилась княгиня Наталья, повела очами, дико ей стало, кинулась к окну — дым в лицо пахнул, глаза выел. Схватила княжича, прикрыла его платком: «Заряслав, сын милый, спи, спи, батюшка»,- и выбежала на крыльцо и обмерла.

Внизу трещало, било пламя, дымили крыльца, занимался огонь под крышей. А кругом все маковки, крыши, избы, шатры — в огне. Дым бьет высоко и стелется над Днепром. И еще видит княгиня — над тыном поднялись плоские рыла, кажут на нее, скалятся.

И было ей тошно от смертного часа.

Заряслав забился на руках, заплакал, рвет с лица покрывало. В спину дунуло жаром. И у княгини захватило дух, стало горячо на душе. Подняла она сына, положила руки его на одно плечо свое, на другое ноги, вдохнула в последний раз запах милый и человеческий и кинулась с высокого терема. И убилась! И мертвыми руками все еще держала Заряслава, не дала ему коснуться земли. Наскочили чудинцы, вырвали княжича, понесли на луг, пялили зенки на мальчика, кукиши совали ему, а не тронули, чтобы живым отнести к жрецу своему в Чудь, на озеро.

Легкою бабочкою вылетела душа княгини Натальи из разбитого тела. И раскрытые ее глаза, еще подернутые мукой, озираясь, видели голубой свет, переливающийся, живой и животворящий. Радостней, радостней, выше становилось душе. Чаще, зорче глядели глаза. И вот слышимы стали звуки, звоны, шумы, звенения, глухие раскаты, грохоты. Трепетал весь свет в бездне бездн. Роились в нем водянистые пузыри, отсвечивали радужно и, звуча и звеня, сливались в вихри, бродили столпами.

И вот уже трепещет душа. Нестерпимо глазам от сияния, от радостного ужаса: покрывая все звуки, весь свет, по всей широте шумит весенним громом голос: «Да будет жизнь во имя мое».

Так мчится к господу светлая душа княгини Натальи. Но чем ближе ей, слаще, радостней — тем пронзительней боль, как жало невынутое. Зачем боль? О чем память? И глубже входит жало, и тяжелеет душа, глохнет, слепнет, и глаза снова подергиваются смертной любовной пеленой. На землю опускается душа княгини, на пепелище. Как жернов — любовь. Где Заряслав? Где сын милый?

Белоглазая Чудь возвращалась на свое озеро без троп и следов,- скорее бы только ноги унести. Волокли добычу. Гнали полонянок с детьми. Княжича тащили в плетеном пещуре. Шли день, и ночь, и еще день, и настала вторая ночь — темная. Погони теперь не страшно, и Чудь полегла во мху, запалила костры от диких собак, что, учуяв поживу, подвывали по зарослям.

Колдун, старикашка гнусный, залез в горелый пень, бормотал заклятья. Кишмя здесь кишела нежить и нечисть, хоронилась за стволы, кидалась в траву, попискивала, поерзывала. То чиркнет глазом, то лапой тронет, а то уйдет колом в землю, а вынырнет в омуте, посреди болота, состроит пакость и начнет хмыкать, хихикать.

Не любила Чудь смеха и шуток таких. Молчали, мясо вяленое ели, остерегались. Полонянки давно уж плакать перестали, вволю приняли горя. Один Заряслав спал спокойно в пещуре: тепло укрыла его княгиня Наталья сладким сном.

Укрыла и сама донеслась клочком тумана по лесу над мхами и омутами, сквозь тяжелые от влаги деревья. Вверху за сучьями вызвездило, скоро и заря. Из-под вывороченной коряги высунул нечесаную морду леший и спрятался; на бугорке у норы лиса с лисятами увидала летящее облако, сморщила нос и зевнула, завиляла хвостом.

А вот и стреноженные кони фыркают, щиплют траву. Вповалку, завернутые с головой в попоны, спят воины. Князь Чурил лежит, опершись локтем о седло; суровые глаза его открыты, думает; проснулся перед зарей, отер усы от росы и задумался о славе своей, о былых сечах, о том, что нет ни у кого ни города такого, ни жены такой, ни сына. От этих дум заворочался Чурил: «Все ли ладно дома?»

И видит — стелется у ног облачко. «Сыро,- думает,- кольчуга проржавеет»,- и потянул на себя попону. А сон летит с глаз: «От двора далеко отъехали, как бы не было чего злого?» Мочи нет. Поднялся Чурил, подтянул ремень на животе:

— Эй, ребята, заспались, заря скоро!

Зачесались воины, поскидали попоны, разбрелись за конями. Оседлали. Тронулись.

Чурил едет впереди шагом. Совестно перед ребятами: заладились охотиться недели на две, а сейчас глаза бы не глядели на зверя. Сесть бы в княгининой светелке, Заря-слава на руки взять… Милее жизни жена, милая Наталья.

Воины ворчат: едет князь дуром, сучья дерут лицо, лунь-птица из-под коня шарахнулась, запуталась в кустах, застучала клювом:

«Эй, князь, спишь, что ли?»

Плывет, стелется облаком перед Чурилой княгиня Наталья, манит, мается. Рвут кусты легкое тело. Нет, не слышит князь, не чувствует. Усы закрутил. Осадил коня, оперся рукой о круп, говорит дружинникам, чтобы шли в заезд на тура, что давеча навалил густо валежнику у озера.

И княгиня отлетела от Чурила, понеслась по лесу, окинула взором чащобы, видит — лежит олень рогатый, морду опустил в мох, дремлет. И вошла в него, в сонного, похитила его тело, подняла на легкие ноги и оленем помчалась навстречу охотникам.

— Стой,- говорит Чурил,- большой зверь идет.- Подался с конем в кусты, отыскал в колчане стрелу поострее, вложил в самострел и, упершись в стремена, натянул тетиву.

С шумом раздвигая кусты, выскочил олень. Стал, дрожа дрожью. Крупный самец! Рога как ветви. Эх, жаль, темно,- не промахнуться бы. И князь чувствует — глядит на него олень в ужасе, в тоске смертной.

И только начал поднимать самострел — шарахнулся олень, побежал нешибким бегом, не мечась, только голову иногда обернет к погоне. Умный зверь.

И сорок рогов затрубило по лесу. Го-го-го,- отозвалось далеко. Затрещал от топота валежник. Закричали сонные птицы. Воронье поднялось, закаркало. Стало светать.

Скакали долго. Кони вспенились. Княгиня Наталья видит — близко, близко, вон там, за оврагом, залегла Чудь, может, уж и снялась со стана, заслышав рога. Не погубили бы Заряслава. Поспеть бы. И повернула к оврагу. И заметалась: впереди, пересекая путь, выскочили всадники, окружили, машут копьями. Чурил поднял самострел, приложил к ложу худое, свирепое, любимое лицо.

«Остановись, остановись!» — так бы и крикнула Наталья. И резкий, звериный вопль сам вылетел из груди. Запела стрела и впилась под лопатку у сердца. Олень осел на колени. Засмеялся князь. Вынул нож, лезет с седла, чтобы пороть зверя. Идет по мху. Споткнулся. Княгиня глядит на мужа глазами, полными слез. Чурил взял ее за рога, пригнул голову.

И чуда не было еще такого за всю бытность: олень, пронзенный стрелой, до самых перьев ушедшей в сердце, поднялся, разбросал рогами охотников, побежал, шатаясь, шибче, шибче, спустился в овраг, скачками поднялся на ту сторону, стал и глядит опять. Смотрит.

Усмехнулись в усы старые воины.

— Легка твоя стрела, князь, уйдет зверь. Лихая досада! И опять поскакала охота.

Олень тяжелым уже скоком выбежал на поляну. Повсюду дымятся костры, раскиданы кости, тряпье. И за красные сосновые стволы хоронятся какие-то людишки, удирают.

— Чудь, Чудь! — закричали воины.

Здесь олень зашатался, опустил рога в мох и рухнул; Черная кровь хлынула из морды. И вылетела душа княгини, замученная второй смертью.

Чурил глядит на зверя. Дико ему на душе. Подскакал старый воин.

— Князь, князь,- говорит,- не твоей ли княгини эта кика? — и поднял копьем с земли рогатую, шитую золотом кику, что сняли чудинцы с волос Натальи.

Зашатался князь в седле. Кровь кинулась в голову, помутила ум. Сорвал рог с плеча, затрубил, швырнул его далече и сам впереди, а за ним сорок дружинников кинулись в угон за обидчиками. Порубили отсталых и настигли всю бегущую кучей Чудь, окружившую полонянок и добычу.

Много Чуди желтоволосой. Большая будет битва. Стали воины ругаться с врагами, кричат:

— Выходи, белые глаза! Подтягивай портки!.. Молись своему паршивому богу!..

Ихний колдун, став на камень, поднял на руках Заря-слава, погрозился, что живым не отдаст, если княжьи начнут драку. Тогда Чурил прыгнул с коня и, прикрываясь локтем кольчужным от стрел, пошел биться. Наскочила на него Чудь. Завизжала Чудь. На выручку кинулись дружинники, пешие и конные. Запели стрелы. Начались крики. Лязгало железо. Хватались грудь о грудь. Была великая сеча.

С ножом, поворачиваясь, стряхивая наседающих, весь испоротый, исколотый, лез князь, как тур, добирался до колдуна.

Три раза отбрасывали Чурилу. Колдун, выставив бороду, бормотал, плевался, запакостился от страха. Все же князь достал его рукой и умертвил на месте. И стоял идолом каменным над сыном. Выдергивал из себя стрелы. Убивал каждого, кто совался.

До полудня шла битва. Десять дружинников легло в ней смертью, а врагов не считали, и Чудь побежала, но немногие ушли через болота.

Дружинники стали кликать, собирать полонянок. Стали узнавать, кто жену, кто сына. Качали головами, хмурились. И вернулись все — воины, женщины, дети — гурьбой на поле сечи, где бродили кони, торчали стрелы, шлемы валялись, люди убитые.

Князь Чурил лежал мертвым, с лицом суровым и спокойным, в руке зажат меч. Около него был мальчик, Заряслав. Над ним летала малая птица. Кружилась, попискивала, садилась на ветвь, трясла перьями, разевала клюв.

Княжич, глядя на птицу, улыбался, ручкой норовил ее схватить. На ресницах Заряслава, на щеках его горели, как роса, слезы большими каплями.

Старейший из воинов взял княжича на руки и понес. Павших положили на коней, тронулись в обратный путь к Днепру, на пепелище. Впереди несли Заряслава, и птица, синяя птица, увязалась вслед. Ее не отпугивали — пусть тешится молодой князь. Шли долго.

У пепелища погребли усопших и замученных. Над водою, на высоком бугре, в дубовой, крытой шатром, домовине легли рядом князь Чурил с княгиней Натальей. Далеко под ногами их расстилался ясный синий Днепр, широко раскинулись луга, лесистое, озерное понизовье.

Близ могил стали строить новое городище, где быть князем Заряславу. Зазывали на подмогу вольных людей да пропивших животишки варягов. Осенью бегали за золотом к хазарам в степи.

Заряславу разбили лучший шатер, покуда к заморозкам дому не срубят. Мальчик глядел, как строили город, как пищу варили, как вечером большие люди садились над рекою, пели песни.

Женщины жалели мальчика, дружинники говорили: славный будет воин. Да что в том? Чужой лаской горечи не избудешь.

И одною утехою была Заряславу синяя синица. Совсем ручная. Ест ли мальчик, она — скок и клюнет из чашки. Играет ли, бродит ли по лугу — птица порхает около, на плечо сядет или падет перед Заряславом в траву, распушит крылья и глядит, глядит черными глазами в глаза. А то и надоест,- отмахнется от нее: ну что пристала?

И не знает Заряслав, что в малой, робкой птице, в горячем сердце птичьем — душа княгини Натальи, родной матушки.

Прошла зима, снова зазеленели бугры и пущи, разлился Днепр, поплыли по нему, надувая паруса, корабли с заморскими гостями. Затрубили рога в лесах. Зашумели грозы.

Заряслав рос, крепкий становился мальчик. Играл уже отцовским мечом и приставал к дружинникам, чтобы рассказали про битву, про охоты, про славу князя.

А когда женщины гладили его по светлой голове, жалея, что растет без матушки,- отталкивал руку.

— Уйди,- говорил,- уйди, а то побью, я сам мужик.

Однажды он побился с товарищами и сидел на крыльце сердитый, измазанный. Подлетела синица, покружилась и, чтобы заметил ее мальчик, вдруг прилегла к его груди, прижалась к тельцу.

— Ну вот, нашла время!

Взял Заряслав птицу и держал в кулаке и думал, как бы ему подраться еще с обидчиками, а когда разжал пальцы — в руке лежала птичка мертвая, задушенная.

Богатырская будет сила у молодого князя.

Так и в третий раз умерла княгиня Наталья светлой и легкой смертью.

Все было исполнено на земле.